



**М. В. ВИШНЯК**

## **Герои нашего времени**

<Фрагменты>

### **II**

Октябрь явно не удался, — он провалился. И чем дальше, тем провал его все очевиднее, глубже и безнадежнее.

Тут не эмпирические несовершенства отвлеченно-совершенной идеи и замысла; не маленькие недостатки большого механизма; не случайная неудача или преждевременный срыв. В этом отношении марксистские сторонники политического манчестерства и формулы *laisser faire* — *laisser passer* могут быть удовлетворены. Насильственного вмешательства в процесс «естественного» изживания большевицкого фантазма не произошло. «Опыт» не был «сорван» извне и «преждевременно». Октябрь, о котором можно было раньше сказать словами Герцена о самодержавии, что он «сам собою держится, и притом черт знает на чем», этот Октябрь стал проваливаться тоже *сам собою*, в безмятежной обстановке внешнего мира, в итоге не военной катастрофы или неудачи, а социально-экономической разрухи, в результате исчерпания до конца хозяйственных фондов и идеологических иллюзий.

Чем дальше, тем отчетливее вскрывается существо Октября, его «чистая идея» и «материя». Все отчетливее в неприкрашенной и первобытной своей наготе проступают и творцы и рыцари «самого революционного режима, который когда-либо знало человечество». Мы знали о них по своему личному опыту. Мы узнаем теперь приблизительно то же из описания, которое дают Октябрю бывшие соратники и соучастники по строительству Советов. По разным мотивам приходили и уходили от большевиков левые эсеры и всевозможного рода и типа «спецы». Одни — по личным

мотивам, другие по общественным: из патриотической тревоги за интересы и судьбы России, русской науки, просвещения, искусства и т. п. или из увлечения «невиданным по своим темпам и размаху социалистическим строительством», невиданной нигде в мире революцией и т. д.

Ушедшие от большевиков Штейнберг и Бажанов, Беседовский и Ларсон<sup>1</sup> рассказали нам, как всячески хотели они верить в возможность совместной работы, как вынуждены были все-таки извериться. Бывший заместитель комиссара по внешней торговле и личный друг Красина Соломон<sup>2</sup> и сейчас досказывает о своих мытарствах в рижском «Сегодня». Все рисуют потрясающую картину грязи и преступления, политического вымогательства и обмана, распутства и вероломства, казнокрадства и напыщенного самохвальства тех в большинстве своем ничтожных и духовно опустошенных людей, которые волею судьбы и случая пришли к власти над Россией в октябре 17 года. Получилась целая галерея преступных типов, алкоголиков, дегенератов, безумцев. И оспорить ее можно только одним, — тем, что Октябрь изображен кистью людей, чуждых «пролетарской революции», перебежавших к победителям после Октября и улепетнувших, как только обнаружился ее бесславный крах.

В этом отношении «Моя жизнь» Троцкого, двухтомный «Опыт автобиографии», представляет ни с чем не сравнимую и не заменимую ценность.

Троцкий не перебежал в лагерь «октябристов» после победы. Он был октябристом до октября, одним из его главных творцов и вернейшим стражем. И даже сейчас, обличая и кляня своих былых соратников в борьбе за Октябрь, он клянет их за отступничество, себя же по-прежнему считает оставшимся «полностью и целиком на прежнем пути». Несколько неосторожно автор цитирует слова старого Гельвеция: «Каждый народ имеет своих великих людей, и если их нет, он их выдумывает». Каких же «великих людей» имел — или выдумал — русский народ в октябрьский период своей незадачливой истории?

В свое время Ленин, помимо «примазавшихся», насчитывал на каждые 100 большевиков до 70 мошенников, до 29 дураков и только одного сознательного и настоящего большевика. Теперь, в состоянии, правда, некоторого аффекта, — Троцкий не скрывает, что «Опыт автобиографии» для него лишь орудие политической

борьбы: «излагая, я характеризую и оцениваю; рассказывая, я защищаюсь и еще чаще нападаю», «дело идет для меня не только об исторической правде, но и политической борьбе, которая продолжается», — он рассказывает, кто были эти настоящие большевики, каким делали эти «великие люди» свой Октябрь в реальности, а не идеологически или согласно позднейшей легенде.

Свидетельство Троцкого аутентично, и потому оно исторически значительно. Оно идет изнутри Октября и проникает в его сердцевину, и потому оно политически существенно.

Троцкий проводит перед нами всю нынешнюю — и прошлую — гвардию «ленинцев». Кого тут только нет? Троцкий не щадит никого. Характеризует сам и приводит без стеснения отзывы других, ставшие ему известными «доверительно», из частных писем или разговоров.

Особый, презрительный смысл вкладывается им в наименование нынешних вождей, возглавляемых Сталиным, — «эпигонами». «Не только способности предвидения, но и чутья не обнаружил ни один — ни один! — из нынешних руководителей. Ни один из них в марте 1917 г. не пошел дальше позиции левого мелко-буржуазного демократа. Ни один не выдержал исторического экзамена»<sup>3</sup>. Эпигоны «перерезали пуповину октябрьской преемственности». Нынешние столпы «сталинизма» — «умники задним числом», «запоздалые критики», «злополучные фальсификаторы», «ставшие позднее чекистами», «членами коллегии ГПУ», «опорой режима». Все эти квалификации звучат у Троцкого одинаково осудительно.

Подтверждая уже известное со слов «перебежчиков», Троцкий удостоверяет, что Сталин — *аппаратный мажордом*. «Он вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Менжинский стал верною тенью Сталина в ГПУ... Не только начальником ГПУ, но и членом ЦК. Так на бюрократическом экране тень несостоявшегося человека может сойти за человека».

Сталин это — «дрянной человек с желтыми глазами», приводит Троцкий отзыв нынешнего полпреда в Берлине Крестинского. «Первое качество Сталина — лень, — говорил Троцкому Бухарин. — Второе качество — непримиримая зависть к тем, которые знают или умеют больше, чем он. Он и под Ильича (!) вел подпольные ходы», — доносит Троцкий одновременно и на Сталина, и на Бухарина. Сталин «хотел во что бы то ни стало войти

в Львов (во время войны с Польшей) в то время, когда Смигла и Тухачевский войдут в Варшаву. Бывает у людей и такая амбиция». Сталин, оказывается, всегда отталкивал от себя Троцкого «узостью интересов, эмпиризмом, психологической грубостью и особым цинизмом провинциала, которого марксизм освободил от многих предрассудков».

Бухарин — полуистерик, полурбенок, не марксист, а схоласт; после смерти Ленина — медиум Зиновьева, затем Сталина. Пятаков — негодный политик, полуанархист и вместе с тем типичный чиновник. Ворошилов — «по всем своим повадкам и вкусам всегда гораздо больше напоминавший хозяйчика (опять донос!), чем пролетария». Вместе с Сталиным Ворошилов «вымогал» у Троцкого снабжение для Царицына чрез своего «специального представителя» матроса Живодера (!). «Когда мы натянули сеть дисциплины потуже, — досказывает Троцкий дальнейшую судьбу Живодера, — Живодер ушел в бандиты. Он был, кажется, пойман и расстрелян». (Аналогичная судьба постигла, как известно, и другого героя и красу и гордость Октября Железняк, разогнавшего Учредительное собрание<sup>4</sup>).

«Старый большевик» и приближенный Ленина Гусев при ближайшем рассмотрении оказался «мелким интриганом» и «фальсификатором», отличавшимся от других только своим «апатичным цинизмом». Зато «шатун и сума переметная» Каменев — «добродушный циник», не чуждый «личного вероломства». Зиновьев — паника, по свидетельству Свердлова. Ярославский — «внутренне деморализованный субъект» и «пасквильянт», еще более несносный, чем «панегирист». Уншлихт — «амбициозный и бездарный интриган». И т. д. и т. п.

Мы далеко не исчерпали перечень всех «прихлебателей Сталина», в меру сил и умения «превративших партию большевиков в кучу навоза», по компетентному свидетельству Бухарина, — «освободивших мещанина в большевике», по удостоверению Троцкого. Не все исчерпали мы и «квалификации», которые понадавал босфорский изгнанник своим недавним соратникам и сослуживцам. Но не довольно ли и приведенного, чтобы спросить словами самого же Троцкого, направленными им, правда, по другому, неверному адресу (западноевропейской демократии):

*«— И эти люди призваны положить основание новому человеческому обществу?» ...*

Именно они, это сборище ничтожных людей, фантастов и злодеев, вероломных и отвратных, призваны и способны «перестроить жизнь так, чтобы исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры»?

Удивляться ли тому, что у этих людей ничего не вышло? Не удивительнее ли было как раз обратное? Не было бы фантастикой и чудом, если бы у них получилось все-таки нечто положительное, а не кошмар и ад?

Характеристика, которую сторонник перманентной революции дает своей октябрьской революции, не многим отличается от отзыва прославленного ненавистника и обличителя революции Тэна, не видевшего во французской революции ничего другого, кроме «длительной и в большом масштабе работы обезумевших скотов под водительством сошедших с ума глупцов»...

Троцкий говорит нашими словами, когда подтверждает, что «политика Сталина-Бухарина подготовила и облегчила разгром революции», *явилась выражением и сама способствовала* «процессам, которые можно охватить именем реакция»; и что в будущем придется «переучивать» целое поколение и «брать далекий прицел». Он забывает только упомянуть, что и сам он причастен к этим процессам, дружно работая со Сталиным, Бухариным и прочей незавидной компанией в течение шести первых, для октябрьской революции основоположных лет.

Троцкий весьма невысокого мнения о «злых бесхвостых обезьянах, именуемых людьми». Он испытывает «жгучую боль за человеческую саранчу». Но в провале ли Октября основание для такой дешевой мизантропии. В автобиографии Троцкого как будто бы недостаточно материала для *общего* суждения о людях как «злых бесхвостых обезьянах». Зато в ней более чем достаточно материала для ограниченной и частного суждения о большевиках, не исключая и Троцкого, напоминающих своими ухватками «злых обезьян». Не случайно именно эти *обезьяньи увертки* обратили на себя внимание иностранцев — в частности Макдональда<sup>5</sup>, — когда перед ними стал вплотную вопрос о признании большевицкой власти как нормальной власти в государстве.

\* \* \*

Но кроме злых, Троцкий знает и добрых большевиков, преимущественно из уже окончивших свои дни на земле. Из живых —

о некоторых приходится слышать впервые, и замечательны они не столько своими объективными качествами, сколько своею личной и политической близостью к автору воспоминаний.

Из таких положительных типов на первом месте, конечно, вождь вождей, мудрейший из мудрых, «мужественнейший из людей», бесподобный и сравнимый лишь с великим «предтечей» Марксом — «первый свершитель» Ильич!..

И от Троцкого не укрылось ханжеское обоготворение памяти Ильича. Вслед за «белогвардейскими» писателями отмечает и он отношение к Ленину «как к главе церковной иерархии». В «оскорбительные для революционного сознания мавзолеи превратились официальные книги о Ленине. Его мысль разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина. Масса была оглушена, сбита с толку, запугана»...

Это правильное наблюдение не помешало, однако, самому Троцкому «попользоваться» трупом Ленина для защиты живого Троцкого. Он не останавливается при этом перед самым крайним *сервиллизмом* по отношению к «великому больному», «учителю и вождю». По примеру бессмертного Петра Ивановича Бобчинского<sup>6</sup>, он настойчиво подчеркивает, что это он, Троцкий, *первый* произнес «слово гений в отношении Ленина». «Да, Ленин был гениален полной человеческой гениальностью».

Троцкий, видимо, хорошо знает свою среду, всю эту «оглушенную, сбитую с толку, запуганную массу». И он услужливо кадит «титаническому» Ильичу, предельной, после Маркса, «вершине духовного могущества человека», не забывая упомянуть ни об одном проявлении политического доверия или личного внимания со стороны Ленина к самому Троцкому, к его детям, — вплоть до милостивого «смешка» Ильича и его «лукавой улыбки» или совместного отдохновения после трудов несправедливых в ночь переворота:

«Кто-то постлал нам на полу одеяло — кажется, сестра Ленина, — достал нам подушки. Мы лежали рядом, тело и душа отходили... Мы вполголоса беседовали»...

Троцкий расчетливый дисконтер: он предъявляет к политическому учету даже то, что «он (во время Бреста!) воздержался от голосования, чтобы обеспечить за Лениным большинство одного голоса», а Ленин, «смешливый» Ленин с «лукавым смешком»

говорил Троцкому: «Уже ради одного доброго мира с Троцким стоит потерять Латвию с Эстонией» (что, как известно, и случилось после того, как Троцкому удалось убедить окружающих, что «мы всегда успеем капитулировать достаточно рано»).

И мудрость Ленина, и похвала его Троцкому, и неблагоприятные отзывы его о нынешних недругах Троцкого — все направлено на защиту главного тезиса: борьба против «троцкизма» есть борьба против идейного наследия самого Ленина, ибо он, Троцкий, вернейший и преданнейший ленинец, а Ленин с 17 года был и оставался настоящим «троцкистом».

Положительных фигур, как сказано, немного у Нарцисса октябрьской революции. Есть, однако, у него одна эпическая фигура, в честь которой он слагает подлинную героическую поэму. Это — безвестный солдат Октября, некий матрос Маркин. Стоит, однако, присмотреться ближе к этой «поэме», как она оборачивается обвинительным актом и против автора с его героем, и против всего Октября.

Октябрь, установивший диктатуру пролетариата, оказывается, победил, по свидетельству Троцкого, не силами пролетариата, а *через коллективного Маркина*. Это главное действующее лицо и герой Октября необычайно схож с уже знакомым нам вымогателем и бандитом, тоже деятелем Октября, — матросом Живодером. Только Живодер состоял при Сталине и Ворошилове, тогда как Маркин находился в окружении — чтобы не сказать: в свите, — Троцкого.

Как Живодер, Железняк, Дыбенко и др., Николай Маркин принадлежал к «братве» балтийского флота. «Слово давалось ему с трудом». Но его «крепко сколоченная фигура» — о форме вооружения этой «фигуры» автор умалчивает, умело заполняя пробелы и недостатки ораторского искусства. Фигура эта провиденциально появлялась на всех путях и перепутьях Троцкого. До Октября она «налаживала» домашнюю жизнь Троцкого, пестовала его детей, создавала уют и комфорт в том «буржуазном доме», в котором Троцкие жили. В славные дни Октября «Маркин с револьвером в руках боролся за трезвый (!) Октябрь»: он расстреливал бутылки с вином и отгонял от погребов других сочленов «братвы», «лакавших прямо из канав» стекавшее туда вино.

Отбив «алкогольный приступ контрреволюции» (Троцкий сам же указывает, что вино «лакали» не контрреволюционеры, а «братва»), Маркин сменил борьбу с отечественными пропойцами

на борьбу с международными империалистами. Безграмотный и тупой скуловорот заделался коммунистическим дипломатом... Больше того, — «Маркин стал на время негласным министром иностранных дел. Он сразу разобрался *по своему* в механизме комиссариата, производил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дипломатов, устраивал по новому (!) канцелярию, конфисковал в пользу беспризорных контрабанду, продолжавшую поступать в дипломатических вализах из-за границы, *отбирал наиболее поучительные тайные документы и издавал их за своей ответственностью (!) и со своими примечаниями (!!)*. Маркин... даже писал не без ошибок. Его примечания поражали иногда неожиданностью (?) мысли. Но в общем Маркин крепко забивал дипломатические гвозди (?) и как раз там, где следовало»...

Можно судить, каким «министром иностранных дел» был сам Троцкий, если его не без успеха мог заменить Николай Маркин. Но высшая демократичность — или «народность» — Троцкого в том и состоит, что он и с Маркиным не брезгает стать в большевицкую пару. Как бы то ни было, но, установив диктатуру пролетариата, Троцкий с Маркиным сменили дипломатическое искусство на военное и, как два Аякса, отправились водружать диктатуру на Волге. Когда Троцкий узнавал, что в опасном месте находится его альтер эго матрос Маркин, — «на душе становилось спокойнее и теплее» (почему «теплее» Троцкий не поясняет, — поверим на слово!). Но пробил час Маркина — Троцкий переходит от героики к элегии, — и вражеская пуля догнала на Каме Маркина и «свалила его с крепких ног. Точно гранитная колонна обрушилась передо мною»...

Читая горестную повесть о Николае Маркине, со слезами рассказывавшем девятилетнему сынишке Троцкого, как «женщина, которую он давно и крепко любил, покинула его и что поэтому у него бывает черно и мрачно на душе», — до того черно и мрачно, что он дошел до большевизма и душегубства, — можно понять психологию этого героя и жертвы Октября. Постичь душу Троцкого, понять *его* черноту и мрак, — гораздо, конечно, труднее. Труднее и забыть и простить живому Троцкому то, что может быть прощено мертвому Маркину. Ибо и сам он говорит: «Что может быть прощено темному несознательному человеку (или “коллективному Маркину”. — М. В.), — того нельзя простить члену (тем более вождю!) партии, стоящей во главе рабочего класса всего мира».

\* \* \*

Троцкий достаточно искушенный политик, чтобы усвоить, что «в политике решает не только что, но и *как* и *кто*». Мы только что видели, *кто они*, эти герои и рыцари Октября, задавшиеся целью «исключить возможность периодических буйных помешательств человечества и заложить основы более высокой культуры».

Посмотрим теперь, *как* творился Октябрь, *какими методами* закладывались «основы более высокой культуры».

Как известно, Ленин допускал — и теоретически, и практически — все средства борьбы с политическим противником. Благая политическая цель, социализм и революция, оправдывала для него, как для Лойолы, любое скверное средство. Он не один раз публично формулировал свой взгляд на политическую мораль: «Когда в этом есть надобность, следует уметь пускать в ход хитрость, ловкость, нелегальные методы, умолчание правды»<sup>7</sup>.

Троцкий не столь откровенно циничен. Он и этой позиции не хочет сдать без боя. И с моральной точки зрения он пытается защищать Октябрь. Но мораль у него не столько даже особая, сколько *своя*.

Понимая решающую роль насилия в успехах Октября, Троцкий вводит насилие в рамки общеисторической закономерности, необходимости и целесообразности. По примеру узурпаторов других времен и народов, он и оправдание большевицкого насилия ставит в прямую зависимость от *цели*, ради которой оно осуществляется, и от того, *кто* насилие осуществляет. «Применение материальной силы играло и играет огромную роль в человеческой истории, иногда прогрессивную, чаще реакционную, в зависимости от того, *какой класс и для каких целей* применяет насилие».

Однако не напрасно все-таки оказывался Троцкий на положении жертвы насилия, — в последний раз насилия пролетарской диктатуры. Вульгарная телеология его, естественно, никак не может удовлетворить. Он прибавляет поэтому: «Отсюда бесконечно далеко до вывода, будто насилием можно разрешить все вопросы и справиться со всеми препятствиями. Задержать развитие прогрессивных исторических тенденций при помощи оружия возможно. Преградить прогрессивным идеям дорогу навсегда — нельзя».

Иначе говоря, — торжество «троцкизма» задержано, но не навсегда. Будущее за ним. Все зависит от обстоятельств. Отсюда

и соответствующая мораль: *«Абсолютных правил поведения не существует ни для мира, ни для войны. Все зависит от обстоятельств».*

И вот иллюстрации к тому, как это отвлеченное положение воплощалось в жизнь.

Кто не слышал о знаменитых «Лэтр де кашэ», об особых королевских приказах об аресте или изгнании жертв, имена которых иногда вписывались лишь задним числом в приказ, скрепленный королевской печатью? Но если бы не было автобиографии Троцкого, кто мог бы узнать или поверить, что «самый революционный режим, который когда-либо знало человечество» заимствовал у французских Бурбонов и реставрировал «Лэтр де кашэ», придав им только еще более жестокую и непоправимую форму?!

Это было в июле 1919 года в Москве в заседании коммунистического Политбюро. Ленин в «две минуты» сочинил и передал Троцкому «чистый бланк», на котором значилось в левом углу: «Председатель Совета Народных Комиссаров Москва, Кремль... Июля 1919 г.», а внизу «красными чернилами»: *«Товарищи! — Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден, в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого тов. Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело. — В. Ульянов-Ленин».*

Можно с презрением пройти мимо тех мотивов личного свойства, по которым только теперь, поссорившись с «эпигонами», Троцкий сделал достоянием гласности этот чудовищный, особенно для людей, клянувшихся социализмом, документ. Троцкий отлично понимает, как компрометирует он им Октябрь. Но он не в силах был его не «использовать» как высшее свидетельство «неограниченной моральной доверенности», оказанной ему Ильичем в то время, как его соперника и зашителя Сталина тот же источник коммунистической благодати наградил «моральным волчьим паспортом».

*«Я вам выдам сколько угодно таких бланков»,* — передает Троцкий слова Ленина. И с последним бесстыдством человека, упоенного благоволением вождя, спокойно комментирует значение предоставленных ему в неограниченном числе «бланков»: *«Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным вынести в будущем. Между тем от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ».*

Эти коммунистические «Лэтр де кашэ» — *останутся!* Они переживут Троцкого, как пережили уже Ленина.

Троцкий известен своею жестокостью даже в большевицкой среде. Известны его зверские приказы, в которых подчеркивалось, что «единственный порок, непростительный для рабочего класса, это — милосердие, мягкосердечие по отношению к своим классовым врагам». Он сам рассказывает теперь, глухо и в общей форме, как именно прикладывалось его прославленное «каленное железо» на Волге, как он расстреливал командира, комиссара, «известное (?) число солдат»<sup>8</sup>. Создается Троцкий и в другом злодеянии, в гнусной роли, сыгранной им в процессе эсеровских смертников-чекистов.

«Приведение смертного приговора в исполнение означало бы неотвратимо ответную волну террора, — передает Троцкий свои былые думы. — Ограничиться тюрьмой, хотя бы и долголетней, значило просто поощрить террористов, ибо они меньше всего верили в долголетие советской власти. *Не оставалось другого выхода, как поставить выполнение приговора в зависимость от того, будет или не будет партия продолжать террористическую борьбу. Другими словами, вождей партии превратить в заложников.* Первое свидание мое с Лениным после его выздоровления произошло как раз в дни суда над социалистами-революционерами. Он сразу и с облегчением присоединился к решению, которое я предложил: “*Правильно, другого выхода нет*”».

Пусть будущий историк решит, что хуже — выдавать «Лэтр де кашэ» или приводить их в исполнение? Придумывать ли систему политического заложничества в отношении тех, кто не верит в «долголетие советской власти» и потому должен находиться в течение месяцев под угрозой казни за деяния, вне власти приговоренных находящаяся, — или «с облегчением» санкционировать эту средневековую пытку? На взгляд современника, — одно стоит другого. Ленин не уступает Троцкому, как Троцкий ни в чем не уступает Сталину, подпадая с ним вместе под выразительную — и общую — формулу последнего: «Мы — все чекисты!»

Ибо Троцкий прав: большевик — не только политическая категория, но и — *особый психологический тип!*.. В этом общем типе растворяются индивидуальные черты и Ленина, и Троцкого, и Сталина и других большевиков. Каждый похож на каждого. Возьмите мелкую, но характерную бытовую деталь. Троцкий пишет о себе:

«Совсем не ради парадокса, а потому, что так оно и есть, я должен сказать, что не выношу беспорядка и разрушения». А вот его описание «интерьера» другого великого разрушителя: «в комнате Ленина царил, как всегда, образцовый порядок. Ленин не курил. Нужные газеты с пометками лежали под рукой»...

Или другой эпизод. Ленин показывает Троцкому издали Вестминстер «и еще какие-то примечательные здания». Не помню, как он сказал, но оттенок был такой: «это *у них* знаменитый Вестминстер». «У них» означало, конечно, не у англичан, а у правящих классов. Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глубоко органический был у Ленина *всегда*, — говорил ли он о немецкой артиллерии и французской авиации или о «каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, книжных богатствах Британского Музея» и т. д. То же и у Троцкого.

Общая психология, общая и политическая мораль\*.

---

\* Так как для нас, в отличие от Троцкого, дело идет не только о политической борьбе, но и об исторической правде — мы считаем не лишним остановиться на той недооценке Троцкого, которую допускает в своих «Современниках» проставленный мастер политического портрета М. А. Алданов.

Троцкий служит для Алданова фоном для портрета главного «героя» Сталина, которого Алданов в такой же мере, на наш взгляд, переоценивает, в какой недооценивает Троцкого. Признать Сталина «человеком выдающимся, бесспорно самым выдающимся во всей ленинской гвардии» можно только в самом формальном смысле употребленных при этом слов. По существу же эта характеристика так же неверна, как и отзыв о Троцком, как «актер для невзыскательной, провинциальной публики», «Иванове-Козельском русской революции», «лишенном идей», хотя и не лишенном ума и характера.

Конечно, можно назвать Троцкого «отважным кавалеристом» слова, — эта «пежуративная» формула по существу не противоречит и более положительной оценке Бернарда Шоу, назвавшего Троцкого «королем памфлетистов». Но утверждать, что «от Троцкого останется десять тысяч восклицаний — все больше образные», — к сожалению, уже никак нельзя. К нашему глубочайшему сожалению, от Троцкого, как, впрочем, и от Ленина, Сталина и прочих, останется очень многое сверх их восклицаний, образных и безобразных... Ведь и сейчас многое из того, что сделал и делает Сталин, есть в значительной мере выполнение «генеральной линии» его соперника и врага Троцкого!

Рискуя быть обвиненным в оскорблении коммунистического величества, я позволю себе все же утверждать, что как оратор писатель и темпераментный политически боец Троцкий гораздо даровитее и, в этом смысле, выше не только бездарного Сталина, но и «гениального», — по убеждению не одних только официальных большевиков, — Ленина. Не уступал Троцкий Ленину и в мужестве. И не потому, чтобы Троцкий был такой уж Ринальдо Ринальдини или чудо-богатырь, а потому, что Ленин вовсе не был таким

\* \* \*

Мы видели, что Троцкий и общее: большевицкий Октябрь — отрицает наличность и возможность абсолютных правил поведения: «все зависит от обстоятельств». Тем не менее и у Троцкого такого рода правило имеется. Как «массовик» и сторонник непрерывной революции, он убежден, что «не может быть большого идейного падения для революционного политика, как обманывать массы». Даже в приказах на полях сражения он предписывал: «За неправду карать, как за измену. Военное дело допускает ошибки, но не ложь, обман и самообман».

Казалось бы, хорошо: хоть что-то является недопустимым и для большевика! Есть все-таки предел насильственному внедрению нового мира и «более высокой культуры». Но, увы! Факты, которые одновременно с утверждением этого как будто бы уже «абсолютного правила» приводит и оправдывает Троцкий, свидетельствуют не только о внутренней «неувязке» его личной логики и морали, — но и глубочайшем «идейном падении» Октября.

---

«мужественнейшим из людей», каким его в согласии с другими советскими иконографами изображает и Троцкий.

В опровержение господствующей легенды об исключительном якобы мужестве Ленина Троцкий приводит ряд интересных фактов и эпизодов. Оказывается, Ленин вообще «всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности (!) руководства». В этом Троцкий усматривает одну из черт, отличавших Ленина от отважного до безрассудства Карла Либкнехта. Ленин, видимо, постоянно находился под страхом быть убитым.

«5-го (июля 17 г.) я виделся с Лениным. Наступление масс было уже отбито. “Теперь они нас перестреляют, — говорил Ленин. — Самый для них подходящий момент”.

“А что, — спросил меня совершенно неожиданно Владимир Ильич в те же первые дни (Октября), — если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Свердлов с Бухариным справиться? — Авось не убьют, — ответил я, смеясь. — А чёрт их знает, — сказал Ленин, и сам рассмеялся».

Есть и другие свидетельства.

Предельно отвергая Троцкого, ненавидя и борясь с ним, надлежит все же отдать ему то, что ему принадлежит. Умалая своих врагов, одержавших над ним пусть исторически кратковременную и иллюзорную победу, но все же победу, мы умалаяем не только их, но и самих себя, претерпевших поражение от ничтожества. Морально — за единичными исключениями буквально, большевики *стоят* друг друга, все одинаково ничтожны. Но интеллектуально — они все же «разнятся во славе», как бы призрачна ни была она.

Кто не помнит бешеной атаки, которую вели раздельно, но согласованно, большевики и Троцкий против введенной временным правительством смертной казни на фронте, — против того, что революционная власть насильственно, под угрозой смерти, гонит в бой «пушечное мясо». А сейчас, после октябрьского опыта гражданской войны, Троцкий уже *в общем виде* отстаивает самые жестокие мероприятия, практиковавшиеся воюющими во время «империалистической бойни» и не претендовавшей на установление «более высокой культуры».

*«Нельзя вести людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой злые бесхвостые обезьяны, называемые людьми, будут строить армии и воевать, — поучает злая бесхвостая обезьяна, называемая большевиком Троцким, — командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди неизбежной (!) смертью позади»...*

Этим свидетельствуется попутно, что из сражавшихся под красными знаменами многие погибли не от белых, а от красных пуль. Множество красных бойцов, которых продолжают числить и чтить как павших «смертью храбрых» за «Серп и молот», фактически положили животы и сложили свои головы, пострадали от «Серпа и молота».

Менее трагичен, но не менее показателен и отвратен и другой факт — введение правдолюбивым, пусть в отношении только к массам, Троцким ордена «Красного Знамени». «Вводя орден (после того, как “еще только недавно мы сумели отменить ордена старого режима”), я имел в виду дополнительный стимул для тех, для кого недостаточно внутреннего сознания революционного долга (как будто “старый мир” не имел в виду как раз тот же “дополнительный стимул”? — *М. В.*). Ленин поддержал меня. Орден привился». Вскоре заделались кавалерами и Троцкий, и Буденный, и Сталин и прочие строители «более высокой культуры».

Надо заметить к тому же, что Троцкий сам отказался от права на обычную для жестоких правителей увертку и ссылку на внешние или чрезвычайные обстоятельства, заставившие его прибегнуть к таким жестоким или обманным мероприятиям. Ибо Троцкий решительно поучает, правда, других, что «партия, которая недостаточно сильна, чтобы отвечать за свои действия, не имеет права брать власть»!..

Имела ли право брать власть партия большевиков, если, чтобы удержать в своих руках власть, ей надо было прибегать к «Лэтр де кашэ», к системе политического заложничества, к пулеметам в спину своим же бойцам, к орденам и всему прочему, постороннему на предельном для «революционных политиков идейном падении» — на систематическом обмане масс?

Имела ли право брать и удерживать власть партия большевиков после того, как и для нее самой выяснились в Бресте ее полное бессилие и безответственность? Троцкий красочно описывает, как ему не удалось добиться лавров и сразить гидру германского империализма. С первых же дней господином положения в Бресте, как и следовало ожидать, оказался не Троцкий, а генерал Гофман. Гофман без особых стеснений — кого было стесняться? — и не один раз «клал свой солдатский сапог на стол, вокруг которого развертывались прения». Троцкий в Бресте — не чета Троцкому в Таврическом и Смольном — очень быстро убедился, что «именно сапог Гофмана является *единственной серьезной реальностью* в этих переговорах», а вовсе не аффектированная декламация большевиков.

И убедившись в этом, в твердой уверенности, что «мы всегда успеем капитулировать достаточно рано», Троцкий сосредоточил свои силы и внимание не на обороне интересов России против притязаний Германии, а на защите своих собственных трудов и дней в славные дни Октября. В этом он снова трогательно совпал с «великим больным». Оказывается, и «Ленин был буквально счастлив, когда я привез с собой готовую рукопись об октябрьской революции. Мы одинаково видели в ней *один из скромных залогов будущего революционного рванша за тяжкий мир*».

Большевики вообще неохотно говорят о содержании «тяжкого мира», ими подписанного, и если бы не победа западно-европейской, столь ненавистной большевикам демократии, ставившего Россию в вассальную зависимость от Германии. Да и то сказать, — по признанию Троцкого, для него с Лениным все германское, в том числе и германская революция, были — «неизмеримо важнее нашей»<sup>9</sup>. Неудивительно, что при таком отношении к России они могли найти утешение от позора и гнета брестского мира в — «рукописи об октябрьской революции», в ней увидеть «залог будущего революционного рванша».

Поехали за мирным договором, а привезли собственную — новую — рукопись... Трагическое перекрещиваемся с смехотворным.

При Николае II, в японскую войну, японцы нас — шимозами, а мы их молебнами. При коммунистах Ленине и Троцком немцы нас — «аннексиями и контрибуциями», а мы их — рукописями и брошюрами, правда, «вскоре переведенными на дюжину европейских и азиатских языков» (за счет русской казны)...

Только и вся разница между старым миром и «новым»!

\* \* \*

Книга Троцкого с полной убедительностью свидетельствует о том, что партия большевиков обманывала массы и «оптом», как партия, сулившая новое небо и новую землю, и «в розницу» — отдельными мероприятиями. И если раньше кто-либо из более добропорядочных энтузиастов-фантазерок этого не понимал или не замечал, то *теперь* уже давно нет места для искреннего заблуждения или самообмана. Теперь уже нет никого среди руководителей большевицкой верхушки, кто не сознавал бы отчетливо, что из великого соблазна родился Октябрь, на обмане он утвердился, насилием и обманом и держался. Не только врагов своих обманывал большевизм, не «массам» только лгал он, он лгал и своим друзьям, — они обманывали друг друга.

Лжет и фальшивит, конечно, и Троцкий.

Он утверждает, что «каждая строчка газеты (“Правды”), каждая буква ее лгала»... Но заметил он это только тогда, когда его самого выкинули из этого лживого органа, — из «Правды» и из советской России<sup>10</sup>. Не раньше! Троцкий считает «одним из величайших обманов истории» — не больше и не меньше! — употребление, которое сделали Сталин и прочие «эпигоны» из старого письма Троцкого к будущему «социал-предателю» Чхеидзе с непочтительным отзывом об Ильиче. Мимо многих, других, гораздо более серьезных обманов босфорский отшельник проходит совершенно равнодушно. О них он не упоминает. Они его не касаются.

Его низменная душа не чувствует всего неприличия причитаний и сетований на нетоварищеское обхождение, которому Троцкого подверг его недавний соратник и товарищ Сталин, не замечает и отравленного оружия, которое сам же даст против себя врагу, утверждая — «пытаться оправдывать революционный террор значило бы считаться с обвинителями»...

«Более высокая культура» оказывается при проверке и не более высокой и совсем не оригинальной. Она сводится в своем существовании к старому, как мир, правилу: когда я насилую, это — добро, когда же насилуют меня, это — зло. Объективные же результаты того, к чему приводить насилие, к чему привели, в частности, Россию совместные усилия и Троцкого, и Сталина, и самого Ильича, не представляют для адептов «более высокой культуры» никакого значения.

Троцкий восстанавливает незабываемую картину первых часов Октября — «часов высшего напряжения духовных сил» у всех октябрьских заговорщиков. «Власть завоевана, по крайней мере в Петрограде. Ленин еще не успел переменить свой воротник. На усталом лице бодрствуют ленинские (!) глаза. Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость.

— Знаете, — говорит он нерешительно, — сразу после преследований и подполья к власти... — он ищет выражения — *es schwindelt*, — переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим друг на друга и чуть смеемся».

Это картина — *символическая*. У Ленина «закружилась голова». Он почувствовал, *es schwindelt*. Но почувствовал ли он, заметил ли Троцкий *в те дни* или позднее, когда, полный пиетета к Октябрю, он вспоминал слова незабвенного Ильича, что *schwindeln* на немецком языке имеет и другое значение — *мошенничать*?! Догадывались ли об этом главные герои Октября, когда они «смотрели друг на друга и чуть смеялись»?..

Когда мы теперь, в марте 30 года, читаем статью Сталина «Головокружение от успехов», мы уже точно знаем, какой природы это головокружение. Явно, что оно того же порядка, что и «головокружение» Ленина в 17 году.

Ибо в этом — Октябрь<sup>11</sup>.

